

**В** конце августа, перед школой, мы с подругой узнали новость — наш учитель французского утонул во время сплава. Подробности, окружающие это известие, были не менее красноречивы: ближайший друг, учитель химии из нашей школы, после телефонного звонка сразу же помчался в глухомань (на севере края всё глухомань — притягательная и опасная), чтобы привезти тело. У Виктора, как мы его прозвали, в городе была только пожилая мать. Двое суток трясся учитель химии в «буханке» рядом с распухшим трупом, который, впрочем, мы не видели и даже не могли представить.

Подруга моя была благополучной дочерью живых родителей, племянницей живых тетюшек и дядюшек, внучкой бабушек и дедушек, на ее орбите пока никаких смертей не случилось. «Мои» же смерти — по сердоболию семейства — мне не были показаны, о чем, впрочем, семейство потом сожалело.

Теперь нам больше никто не скажет: «Ouvrez vos gros cahiers cosmiques!» («Откройте ваши огромные космические тетради!») — и не принесет на урок перевода недавно изданного на русском всего Артюра Рембо. Я была невнимательна и мало запомнила из его рассказов, но интерес к внешним атрибутам — поэтическим сборникам на учительском столе, остроумным коллажам из французских журналов, развешанным по стенам, игре в группе на контрабасе — все это со смертью получило развитие в тупике. Подруга Саша, к которой я по привычке зашла в гости, не зная, куда себя деть — а гулять как и думать я тогда еще не умела, — разрывая прошлогодние тетради и складывая их в пакет, призналась ожидаемо, что была в него влюблена. «Да, — произнес тихий голосок внутри, — наверное, так и называется это чувство».

— Ты тоже, — сказал тот же голосок, — была влюблена и потеряла. Навсегда, — прибавил он.

Осень началась рано. Шли дожди. Тетя, которая воспитывала меня как дочь, пыталась повесить чистые шторы и упала с подоконника, ударившись о стоявшую внизу швейную машинку. Ее увезли в больницу.

Недавно я видела сон: компания друзей получила по наследству очень красивый мяч. «Что же с ним делать?» — задумались они. Собрали совет и долго решали, как его поделить. Но мяч был один и на всех в пространстве не делился. Тогда они решили играть с ним все вместе — перебрасывали мяч друг другу, пока не надоело. Мяч продолжал оставаться таким же прекрасным, но теперь каждый хотел поскорее отделаться от него. Тогда они еще раз подумали и поделили время. Первой мяч достался самой младшей из компании. Она положила сияющий мячик в кукольную коляску и стала возить его по двору, укачивая. Тут пришел ее папа и отобрал мяч. «Мала ты еще!» — и положил в дипломат, щелкнув замками. Его племянник хитростью выманил мяч у дяди

и принес домой. Там он достал молоток и гвозди, но вбить гвоздь в несущую стену не смог и отправился к соседу за дрелью — вернулся домой вместе с дрелью, оленьими рогами и соседом, и за пять минут они просверлили два отверстия над дверью, повесили туда оленьи рога и закрепили посередине мяч...

А в том августе, пятнадцать лет назад, сны мне снились в пустой квартире совершенно другие. Проводя последние дни тоскливого лета в городе (а лето в городе — ужас моей юности; это время, когда все подруги разъезжались и я оставалась одна в атмосфере интеллигентской квартиры, заставленной книгами, с тетей, замученной работой и болезнями, с массой свободного времени, которая после окончания четвертой четверти сразу и вся наваливалась на меня и не отпускала до сентября; маленькие доходы семьи не предвещали никаких поездок и впечатлений, город вымирал — дачники перебирались до холодов на свои требующие ухода сотки, подруги махали руками и покидали квадратные коробочки, расширяя свое жизненное и опытное пространство, а мне оставались — чудесная летняя погода, которую не с кем разделить, книги, не имевшие ответов на мои смутные вопросы, и полная бессмысленность отдыха), я хотела соединиться со своими подругами, чтобы продолжить вместе бездействовать... Не сказать чтобы все раздражало. Вокруг располагался красивый, конечно в прошлом, квартал старого центра города — место, подобное греческим развалинам. Центр уже начал перемещаться правее, к новостройкам. Я даже испытывала некоторое подобие гордости и удовольствия от того, что жила именно здесь. Эту часть города возводили после Великой Отечественной, и была в этих полногабаритных квартирах с высокими потолками и домах, выкрашенных в приятные пастельные цвета, поза победителя. Строились дома не кем-то безвестным, а под присмотром главного конструктора завода, расположенного рядом. И знание имени тоже придавало постройкам известную ценность. С тех пор большой стиль, сталинский ампи́р, изрядно потускнел, за четыре-пять лет до появления в России Интернета денег на ремонт домов, видимо, не выделяли, а жители — населившие землю подросшие варвары — довершали то разрушение, которое было начато природой. Когда-то окружавшие дома каменные столбы

и кованые решетки исчезали необъяснимым образом — и арки, служившие входом в большие, уже неухоженные дворы, теряли свой законченный вид. Облезала от дождей и снега краска, потом выпадали кирпичи. Заботливая рука не вкладывала их в прорехи, и кирпичи оказывались или в руках мальчишек, или превращались в мелкое крошево.

Я люблю развалины. Да и большинство людей любит развалины, не отдавая себе в этом отчета, иначе стали бы они слоняться внешне бесцельно по всем этим пирамидам, троям, карфагенам... Я теперь, кажется, понимаю почему. Глянцевое, отреставрированное никак не соотносится с нашим внутренним содержанием. Внутри каждого — если только это не мать Тереза — стоят те же развалины, разливаются невысыхающие лужи слез маленькой-большой Алисы, валяются булыжники нерешенных проблем. Увидев развалины воочию, ты можешь внутренне успокоиться — и сказать себе правду: да, связь со Всевышним утеряна, лестница Иакова обрушилась, надо начинать сначала. В окружающих тебя чистоте и блеске признаться себе в этом намного труднее.

Но вернемся к моему кварталу. Видимо, тогда же — на подъеме общей для страны уверенности — кто-то, на этот раз безымянный, высадил на все клумбы квартала разноцветные мальвы, и они прижились. С тех пор традиция мальвы не прерывалась — она зацветала летом и сбрасывала свои семена в землю поздней осенью, чтобы со следующим теплом вернуться. Мальвы — великаны среди обычных уральских цветов, начинать здороваться с ними можно уже издалека. Они, как и раньше, кажутся мне завезенными оттуда, где теплые деньки наполнены куда большим смыслом, чем те, что я проводила с мальвами здесь.

Изредка я навещала — вместе с тетей — Сашу на даче. Ее родители снимали на лето домик в сосновом поселке сразу за рекой — никогда я не забуду то место, где горожанка впервые увидела коз! Спустя 15 лет, давно отпустив Сашу в неподдельную культурную столицу, я пришла в богохульный наш зоопарк с детьми — и вот тоже впервые увидела только что родившую козочку, рядом с ней сидел уже вылизанный влажный детеныш, который на наших глазах сделал первые шаги, а она перегрызала свою пуповину. А напротив спал, выпятив неопрятные лапы, бурый медведь.

И пока дети прыгали, тыкая пальцами в разные стороны, мое воспоминание всплыло, зацепившись за козочку.

Часто надоедать дачникам тетя считала неприличным. Впрочем, Саша там скучала среди людей, когда я скучала в одиночестве. Видимо, скука происходила не из внешнего, а из отсутствия чего-то важного в нас самих. Чем больше у тебя в юности душевных друзей, за которых цепляешься — бывает, что мы ходим парочками, тройками, а то и четверками-пятерками, — тем большего не хватает для ощущения собственной полноты.

Наши встречи были приятны, но уклада жизни не меняли. Саша часто бывала самодостаточна. Тетя же, осколок семьи, избежавшей арестов и доносов, чьих представителей скосили сердечные болезни и одинокая старость, не жаловала в доме гостей — многолюдье исчезло с тех пор, как она была в возрасте «на выданье» и пела романсы с будущими военными. С тех пор из дома исчезло и пианино, и тетя почти никогда не пела — ее брак оказался неудачным. Но призрак изгнанного пианино, видимо, продолжал перемещаться в те дома, где она потом жила, потому что не один и не два человека в воспоминаниях говорили об инструменте и удивлялись, когда я отрицала.

Тетя отдалась работе, а свои глубокие привязанности удачно скрывала до последних дней — только смерти когда-то любимых вызывали их наружу. Из нее получился очень ответственный ответственный работник. Раз в месяц забегала та или иная подруга — чаще это были матери-одиночки, обвешанные проблемами, они делились с тетей крупными и мелкими наростами на своих жемчужинах-детях и на своей раковине. Тетя очень гордилась — она считала, что подружки открывали ей душу. В остальное время мы оставались вдвоем.

Иногда я так долго молчала летом, что, отправленная за хлебом, с трудом его покупала — стеснение у меня вызывало и сама продавщица, хотя она стояла здесь уже лет двадцать, и необходимость назвать покупку хриплым от долгого молчания голосом, и протянуть руку с мелочью. Тетя, опекавшая меня неустанно, успевала крикнуть с балкона: «Не горбись, иди прямо!» А по возвращении обсудить особенности моей походки и сообщить мне мнение о ней — т.е. о походке — соседки, бывшей советской

манекенщицы из окна напротив. Из меня хотели сделать внешнее совершенство, и я начала приписывать то же внимание к себе и другим людям — как будто на подиуме. А так как общение было мгновенно и незначительно, да еще приправлялось такой странной специей, блюдо под названием коммуникация не могло стать съедобным. Зато в прошлом, которого было так много у тети, я ориентировалась уверенно. Как доктор Хаус, я была беспощадна в разгадывании ее тайн. Для чего? Наверное, для продолжения и сохранения себя.

После тетиних рассказов старый центр, населенный замечательными людьми, энтузиастами нового города, представлял в своем новом местном величии, в эпоху собственного золотого века, как всегда наблюдаемого из эпохи упадка. За долгую жизнь тете пришлось сменить не только несколько городов, привыкнуть к ним и потом от каждого отвыкнуть, но и принять в качестве постоянного пристанища город, так не похожий ни на старую Москву, ни на романтическую Читу — романтическую в глазах взрослого, оставшегося ребенком. Примирение наступило не сразу, помогло необъяснимое притяжение к русским царям, описанным сказкотворцами, особенно к Петру Первому. Пристрастие к его фигуре открыло двери восхищению Петербургом, а за неимением возможности там оказаться — удовольствию от мелькания его следов в облике Перми. Регулярность улиц, каменные львы у входа в роддом, неувыдаемая сила пермского балета — все это, несомненно, очень радовало тетю, и иногда она даже вплотную к этим отражениям приближалась. Так, наверное, радовал Петра Петербург — как отблеск виденной им Европы. Тетя вспоминала питерских львов, глядя на пермских из того же прайда, а Петр, глядя на петербуржских, думал о флорентийских.

Чита была ее романтической родиной, Москва — «зеленым виноградом», средоточием амбиций, «местом силы». В конце жизни, совпавшем с расшатыванием, развенчанием и раскрытием, тетя занимала себя тем, что вырезала из газет статьи про Сталина и его окружение, Хрущева и его окружение, Брежнева и его окружение, Горбачева и его окружение, Николая и его окружение. Желание участвовать в жизни «двора», должно быть, не угасало. И за десять лет до смерти она увлеченно читала воспоминания

девицы Вырубовой, драматургию Радзинского (слушать его «завывания» она отказывалась). На другом полюсе стоял шкаф с моими книгами, вникать в содержание которых она тоже раз и навсегда отказалась. Зарубежная литература признавалась только частично — и заканчивалась где-то после Ремарка. Невмешательство привело к двум занимательным моментам: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!..» сменилось на

*Вей, мистраль, властитель далей,  
Туч гонитель, бич печалей,  
Радость сердца моего!  
Не одно ль предназначенье  
Нам начертано с рожденья,  
Чадам лона одного?.. —*

а в выпускном классе были прочитаны «Опасные связи».

Да, когда человеческая душа еще больна — а она больна у всех после грехопадения, попадания осколков кривого зеркала в сердце и в глаза, — многое видится не тем и не так. И это было бы банальностью, если бы люди не состояли из искажений. Как сперматозоид ищет матку, слепо тычась в стенки влагалища, так и душа бредет вслепую значительно более долгий срок ожидания, когда одушевление произойдет. Одного чистого события, единственного доброго побуждения иногда достаточно, чтобы человек научился опознавать истинное и стремиться к нему. Кто-то распознает по внутреннему трепету, дрожи или, наоборот, спокойствию. Саша рассказывала мне как-то на переменке, что еще до школы однажды на даче вышла за калитку и побежала по деревенской улице, а вернуться обратно, найти свой дом не смогла. Она бегала вдоль заборов, но от испуга все дома казались ей одинаковыми. А тут еще начал накрапывать дождь. Саша заметила, как дорожка под сандаляками стала превращаться в скользкую и расползающуюся глину, и запаниковала еще сильнее. Тут на дальнем участке распахнулась калитка, и Саша чуть-ем угадала там очертания мамы. Через миг она уже прижималась к ее животу. Саша утверждала, что мамино платье пахло непонятно, но теперь, когда жизнь ее поворачивала в сторону хорошего,

Саша всегда чувствовала этот мамин запах, промокшие сандалии и тепло ее живота.

Внутри меня сидит гусеница, она вьет свой кокон — или деревенская девушка с прялкой, она наматывает пряжу, или Норна, — представляю себе то так, то этак, и только мне известен тот момент, когда кокон начинает раскручиваться и из мумии появляется живое существо. Это заколдованный кокон — его задача спрятать бабочку обратно как можно быстрее, не дать свиться нити, еще лучше — сделать так, чтобы нить прервалась. И вся жизнь моя — это прорывание бабочки через кокон. Или эта испуганная бабочка. Очень нежная и ранимая бабочка. Мучительно ее восстановление из гроба. Но оно ей уготовано раз за разом. Хитрость в том заключена, что может встать только тот, кто вспомнит, что он живой.

На концерте памяти Виктора мы с Сашей сели в последнем ряду. Мы впервые здесь были — умудренные и разочарованные десятиклассницы (следующий год — «выпускной») — в черном зале местного универа, все еще пахнувшего 1916 годом. Саша — заплаканная, я — готовая плакать вместе с ней. Горе заразительно, наконец-то я чувствую общность со всеми людьми. Флейтист группы, в которой Виктор играл на контрабасе нью-эйдж, раздает сидящим свечечки — те, что обычно ставят на именинный пирог. Пианист (через год он умрет от передозировки) медленно наигрывает самую известную композицию группы — он и теперь уже весь воздушный и светлый от злоупотребления трансом. Перевязанный черной лентой контрабас выпирает из маленькой сцены клуба. Вокалисту — говорят, он живет шведской семьей с двумя актрисами — с трудом дается привычная роль. Он предлагает всем взяться за руки и зажечь свечи. Но Саша не хочет ни с кем делить Виктора. Со словами «Как же это пошло!» она покидает зал.

На следующий день мы идем отрывать фотографию Виктора со стенда — там висит прошлогоднее поздравление учителям. Но нас уже опередили. У кого-то из наших, а может быть, классом старше теперь есть его фото на память. На математике я вдруг спрашиваю себя: а как бы мы его поделили? Фото одно, а нас

двое. Передавали бы друг другу, а еще можно было бы хранить его где-нибудь в школе — благо маленькими мы ее всю исследовали — там, в подвале, где теперь раздевалки, а в годы войны стонали раненые, есть комната со всяким хламом. Мы ее зовем мавзолеем, потому что там лежит на боку гипсовый кудряшка Володя Ульянов, явно списанный со скульптур Христа эпохи Возрождения. Или еще можно на чердаке — там мы играем, жаль только, что нам не пролезть на пустую колокольню (домовая церковь при бывшей тут когда-то гимназии), — ход закрыт намертво. Только и остается, что толпиться у входа.

Там, в подвале, у нас есть тайник. И на чердаке еще один — камни старые и легко вынимаются, прямо как кирпичики российской истории. В начальной школе наша маленькая компания хранила в тайниках карты выдуманного мира и старые часы, а теперь в эти тайнички попали бы вещи посерьезнее.

Саша передала мне через парту записку: «Сходим после уроков на кладбище?»

«Не могу, драгоценная, — накорябала я, — навещу тетю в больнице».

Тетя подружилась с соседкой по палате и казалась даже веселой. Соседка, говорит, работала на ювелирном заводе. «Ну, ты помнишь, муж моей троюродной бабки добился открытия в нашем городе ювелирного завода? Тот, мимо памятника которому мы проходим в наш квартал к бабушке... так вот, она до самой его ликвидации так и работала... Какое это было золотое время! В галерее начали изучать звериный стиль, тогдашний директор говорил, что искусство должно приносить доход, хотел наладить тут туризм — ну, это они через поколение говорят, а туризма всё нет и нет, но тогда наш известнейший краевед разрабатывал тропы по области — вплоть до самых северных точек. Это потом этот хитрый Шац присвоил себе все его архивы, да и не только его...» Ну, тетины истории я уже на своей памяти вырубил.

С утра опять апатия. Мне 15 лет, хочется игры и приключений, приключений! Весь день впереди — одно школьное занудство, даже если и приправленное нашей фантазией, оно становится от нее еще более убогим. И человек, который в наших глазах жил играя, теперь лежит в могиле. А мы, 15-летние

травиночки, шатаемся на ветру даже при тихой погоде, в надежде к кому-то прислониться. Но вокруг нас нет надежной опоры. Я знаю, что и Саша, притянутая ко мне подобием, обладает таким же еще не истребленным детским чутьем — она хорошо понимает, что попала в несомненно гиблое место. Остальные одноклассники уже не вняли чутью — они поверили в то, кем их назначили, и распределились согласно ролям. Возможно, когда-нибудь потом чутье вернется, и они ощутят дуновение ветра на кончиках пальцев, когда вернутся на начатую дорогу.

После уроков, оставив сумки в кабинете учителя физики и получив от него инструкции, как найти Виктора, Саша и я дворами выходим на дамбу — отсюда начинается подъем к кладбищу. Могу сказать, что я в тот момент не боюсь смерти — зато опасюсь, что нас оставили одних там, где мы совсем не ориентируемся. Хочется поскорее выбежать за дверь. Пока Саша наклоняется и покупает бумажный пакетик у одинокой бабки, сидящей на повороте к кладбищу верхом на деревянном ящике, я слежу за ее движениями мутным взглядом. Я иду к Виктору, чтобы проясниться, чтобы спросить у свежего земляного холмика с букетами и венками самое главное. Зачем я тут, откуда он уже ушел? И что мне тут нужно делать? Иду не из любви, а из безысходности и эгоизма. А еще из лени. Жду, что голос с небес выдаст шпаргалку. И он ее выдает — нерадивой ученице.

«Ouvrez vos gros cahiers cosmiques!» — вдруг говорит мне Виктор снова.

Откройте же, наконец, свои огромные космические тетради! Дуболомки, дурьи башки! Откройте их и начните сами записывать — за собой, а не за другими.

Саша теребит у меня перед глазами красные тряпичные цветочки. Ее мотивы мне неизвестны, а я иду назад.